

ПЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА

Р31199

**ПОЛЕ
РУССКОЙ
СЛАВЫ**



МОСКВА 1936



С. ВАСИЛЬЕВ

ПОЛЕ
РУССКОЙ
СЛАВЫ

Москва
Советский писатель
1943

Редактор *А. Митрофанов*

А 445. Подписано к печати 20/IV 1943 г. Тираж 5 000 экз. Колич.
печ л. 2¹/₄. Авт. лист. 2,81. Учетн.-изд. л. 2,98. Заказ 153.
Цена 2 руб.

Типография „Красный печатник“, ул. 25 Сентября, д. 5.

ОПЕЧАТКА по вине типографии

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
46	3-я снизу	Здесь с нам	Здесь все нам

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

Медленно и бережно ступая,
мы идем под небом голубым,
в полевых ромашках утопая,
вежливо дорогу уступая
синним колокольчикам степным.
Любо здесь увидеть стаи птичьи
и не видеть дым пороховой.
Вот оно, во всем своем величьи,
поле нашей славы боевой.
Вот оно прөстерлось перед нами.
Встань к нему, родимому, лицом,
полюбуйся пышными цветами,
политыми кровью и свинцом.
Всё, что было выжжено и смято,—

заново оделась в зеленыя.

Но хранит земля

торжественно и свято
страшный стон железа и огня.

Кажется,—

пригнись к земле холодной,
чутким ухом ближе припади,—
и услышишь звук трубы походной
у пригорка тихою в труди.

Это здесь под хмурым небом бранным
шел туляк на смертный бой с врагом,
пробивая путь себе трехгранным,
кованым, карающим штыком.

Это здесь в немыслимом разгоне
на роскошных седлах расписных
в бой несли каурою масти кони
забубенных всадников донских.

Это здесь на голубом просторе,
на виду у меркнувшей зари,
разливали огненное море
яростные наши пушкари.

Это здесь, на этом самом месте,
не ходивший к страху на поклон,
испытав всю жгучесть нашей мести,
содрогнулся сам Наполеон.

Поле брани! Поле русской славы!
Это здесь, черней горелых пней,
полегли немецкие оравы
под огнем советских батарей.
Это их расколотые танки
обломали здесь свои рога,
это их поганые останки
замели крещенские снега.
Русский воин!

Разве ты в неволе
можешь быть, пока ты сердцем жив?
Разве ты минуешь это поле,
гордой головы не обнажив?
Разве вдохновенно и сурово
слово клятвы вслух не повторишь?
Разве боевое это слово
в славные дела не воплотишь?
Где б ты ни был, честный русский воин,
помни: о тебе гремит молва.
Будь всегда носить в крови достоин
гневный жар великого родства.
Бейся в схватках, равных и неравных,
до конца! Плати врагу сполна!
Помни, что ты правнук и праправнук
доблестных солдат Бородина.

ЕГО ИМЯ

Когда в бою мы видим наше знамя,
мы знаем:

Ленин наш от нас недалеко,
он где-то здесь, в одной шеренге с нами,
и наше знамя в ленинской руке.

Когда мы Сталина улыбками встречаем,
когда мы слышим речь его в торжественной
тиши,

в его глазах мы с жаром отмечаем
живые искры ленинской души.

Когда в смертельном грохоте и дыме
на миг нам кажется, что нет уже пути,
мы произносим ленинское имя —
и мы находим мужество пройти.

Нет, несмотря на дикие бесчинства,
на истеричный, злобный вой врагов,

не пошатнется твердый строй единства,
не смолкнет поступь ленинских шагов.

Нет, что бы ни было,— в любую непогоду
из крепких рук не выпадет древко.

Шумящее, подобное восходу,
пылает наше знамя высоко.

За Лениным шагают поколения.
Любым ветрам и бурям вопреки,
стремится время в ясном направлении
животворящей ленинской руки.

Западный фронт
Февраль, 1942

НАШ ЛЕНИНГРАД

Русский по имени, русский по отчеству,
крепость Петрова ума исполинского,
плод благородного, смелого зодчества,
город Пушкина и Белинского!

Кто с ним сравнится по красоте его?
Нету примера, и брать его не с кого.
Город Некрасова и Рылеева,
город Кропоткина и Чернышевского.

Громкою славой в столетьях овеянный,
в битвах и песнях всемирно прославленный,
огненный город великого Ленина,
город Дзержинского, Кирова, Сталина.

Сколько в нем свежести, сколько достоинства,
мужества, доблести, силы, дерзания!

Разве отдаст его русское воинство
гадам коричневым на растерзание?

Здравствуйте, пристани города вольного,
граница гранита, Невою омытые!
Живы традиции грозного Смольного,
Нарвской заставы дела знаменитые!

К смертным боям
мы приучены смолоду,
бить мы умеем, коль надо, и в старости.
Враг задохнется на подступах к городу
в тесном кольце нашей мести и ярости!

Западный фронт
Сентябрь, 1941

ЗЕМЛЯКАМ-СИБИРЯКАМ

Я вас славлю за геройство,
за умение воевать,
за решительное свойство
никогда не унывать.

За обычай рвать с размаха
вьюги огненной кольцо
и всегда глядеть без страха
смерти бешеной в лицо.

За любовь к своей винтовке,
за привычку к зимовью,
за хватку, за сноровку,
за находчивость в бою.

За искусство видеть зверя
в глубине лесных берлог,
за умение твердо верить
в свой охотничий зарок.

За упрямый норов ловчий,

перешедший в мастерство,
за особый говор певчий
с ударением на «о».
Я вас славлю за единство,
за пленительный, простой
братский дух гостеприимства,
за характер золотой.
За выносливость, которой
нет преград и нет застав,
за могучий рост матерый,
за крутой гвардейский нрав.
За испытанный таежный,
с детства выверенный слух,
за хозяйственный надежный
ум, который лучше двух.
Славя вас и воспевая,
я горжусь, что у меня
есть такая боевая
знаменитая родня!

Западный фронт
Октябрь, 1942

РУССКАЯ МАТЬ

(Рассказ Агриппины Куликовой)

Превозмогая боль и кутаясь в платок,
она рассказывает глухо, но раздельно,
и горек тихих слов ее поток,
произносимых с гневом беспредельным:
— Сынки мои! Уж очень я стара.
Седьмой десяток лет перемахнула...
А в этот самый день, с утра,
я, как на грех, взяла да прихворнула.
Лежу, родимые, одна в избе.
Темнеет. За окном мокропогодит.
Лежу одна и чую по стрельбе,
что наши за околицу отходят.
«Неужто,— думаю,— не выйду из села?
Зажгу избу и двинусь понемногу».
И поднялась.

Соломы принесла,

обувши валенки на босу ногу.
Легко ли рушить мирный свой очаг!
Стою, гляжу... В руках трясутся спички.
Перекрестилась трижды в горячах,
не то что б так, а больше по привычке.
Одна беда: уж больно я стара!
Пока я за соломой-то ходила,
а немцы — вот они. Бормочут у двора.
Ко мне валит чумная вражья сила.
Берет меня за горло офицер:
— Давай нам масла, молока и чаю!
«Не масло,— думаю,— тебе, а сто холер».
— Нет молока и масла,— отвечаю.
Взъярился офицер. Завыл, как дикий волк.
Трясет своим тяжелым пистолетом.
А что трясти? Какой в угрозе толк?
«Врешь,— думаю,— не выедешь на этом».
Ударил раз меня. Потом еще, еще.
Одежду рвет. Плюется то и дело.
Схватил за волосы, толкнул меня в плечо.
В глазах моих, сыночки, потемнело.
Не помню, как я дотянула до зари.
Забрали немцы все мои пожитки:
половики, подушки, сухари —
всё загребли до капельки, до нитки.

На этом бы и кончить мне рассказ;
казалось бы, уж сказано не мало,
да упредить должна я сразу вас,
что это не конец, а лишь начало.
Я вышла.

Постояла за крыльцом.

И слышу вновь поганый вой немецкий.
Гляжу:

стоят разбойники кольцом,
а посередке —

наш боец советский.

И тут же рядом, у плетей витых,
три наших деревенских человека:
две бабки древних, хилых и слепых,
да мой сосед, Илья Линьков, калека.
А немец тот, что бил меня в дому,
сидит, как на престоле, под скворешней.

... Чей, — спрашивает, — сын? Кто родственник
ему?

А что сказать, когда боец не здешний?

Быть может, тульский он, а может, из Ельца
не всё ль равно: одна любовь и вера.

Вдруг вырвался, сердешный, из кольца
да как наотмашь хватит офицера!

Качнулся гад и скovyрнулся с ног,

■ угодил шальной башкой о бревна.
Я не сдержалась.
— Мой,— кричу,— сынок!
Мой золотой, единственный и кровный!
Схватили тут меня и под гору силком...
и паренька, что я назвала сыном.
И завалили нас обоих кивняком
и облили обоих керосином.
«Ну,— думаю,— приходит наш конец!»
Да тут, вишь, самый бой-то и начался.
Погнали немца. Немец вспять подался.
Я вот жива, а раненый боец,
слыхала я, не выдержал — скончался.
Мы молчаливо рядом с ней стоим.
Мы принесли ей сахар, хлеб и сало.
Мы за тебя, родная, отомстим!
Мы все сынки твои.

Ты правильно сказала.

Западный фронт
Октябрь, 1941

СВЯЗИСТ

Оно приходит неожиданно —
несчастье.

В разгаре боя вдруг сборвалась,
оставив штаб отрезанным от части,
с большим трудом налаженная связь.
Порвался провод и умолк, запутан,
а немцы рядом, немцы жмут как раз.
— Восстановить,

не медля ни минуты! —

сержанту Новикову отдан был приказ.

И он пошел окольной тропой,
он понимал, что он не чародей,
но в этот час он был властитель боя:
в его руках была судьба людей.

Он отыскал разрыв и поднял провод,
соединил отдельных два конца.

Колючая, певучая, как овод,

шмыгнула пуля возле хребца.
И началось! Запело, засвистало.
Посыпал густо вражеский свинец.
«Не отступлюсь.

Во что бы то ни стало
налажу связь!» —

в ответ решил боец.
А немцы шли, блестя стальными лбами,
сквозь дикую метелицу стеной.
Тогда он стиснул два конца зубами
и принял бой,

неравный, дерзкий бой.
Его нашли, когда уже смеркалось.
В руках винтовка, поднятый прицел.
В зубах был провод. Связь не прерывалась.
Вблизи валялась груда вражых тел.
Он тихо умер, чуть назад отпрянув,
прижавшись к ели и оледенев,
но на лице его, спокойном и упрямом,
не ужас был, а ненависть и гнев.

Западный фронт
Февраль, 1942

1 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

Бьет двенадцать на старых кремлевских часах.
Осыпается снег на священный гранит мавзолея.
И, как эхо, в густых подмосковных лесах
В напряженной ночи отвечает часам батарея.

Нет, недолго фашистам бесчинствовать в нашей
стране:

Мы прозней, мы суровой, мы старше, мы опытней
стали.

Как тяжелый клинок закаляется в долгом огне,
так и мы закалились и приняли качество стали.

Бьет двенадцать. У Спасских сменился патруль.
Притаился зенитчик. Спокойно, товарищ! Му-
жайся!

Полыхает мороз. Но легко повинуется руль.
Громобойные танки идут в направлении Можайска.

ОТВЕТ ВРАГУ

Мы врагу достойно отвечаем
ревом наших ядер разрывных,
свистом пуль,

гремучим, грозным граем
легких

истребителей стальных!

Зоркостью и хваткой ястребиной,
гневом,

извергающим грома,
волею своей неистребимой,
силой рук

и ясностью ума.

Мы врагу на подлость отвечаем
выправкою,

выплавкой,

литьем,

сталинским высоким урожаем,

боевым стахановским трудом!
Не спасет врага высокая ограда,
проходимцев строй перед дворцом.
Ждет врага

достоинная награда:
мы тебя,

стервятника и гада,
вытравим железом и свинцом.
Не бывать врагу в благополучьи.
Кровь его смердит

и плоть мертва
Облетят его значки паучьи,
как с гнилого дерева листва!

Западный фронт
Февраль, 1942

МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА

Когда я узнал эту страшную новость —
я думал, что сердце во мне расколосось.
Ведь жутко подумать: ты стала отныне
фашистскою пленницей, вещью, рабыней!
Два грязных бандита, два пьяных солдата
наставили два вороних автомата
и вместе с другими по хмурому полю
погнали тебя сквозь ненастье в неволю.
Далёко-далёко от отчего края
проходит дорога моя фронтовая,
и горький твой путь мне отсюда неведом,
а то б за тобой я отправился следом.
Я хитрый разведчик. Даю тебе слово —
я снял бы бесшумно в ночи часового,
сквозь сумрак, сквозь смерч автоматного грома
тебя на руках я донес бы до дома.

...Доносятся залпы раскатно и редко.
Сегодня я вновь отправляюсь в разведку.
И вот я гляжу в тишине и печали
на милую карточку в светлом овале.
Гляжу с нетерпением, жадно, как в детстве,
гляжу — и никак не могу наглядеться!
Я помню любви нашей краткой начало,
я помню, как робко меня ты встречала,
и взгляд, и походку, и голос твой помню,
и сладко от этого и не легко мне.
Мы мало любили, но крепко любили,
и верили в счастье и счастливы были,
и не было в мыслях меж нами такого,
чего б не могли мы понять с полуслова.
Я помню тебя загорелой, проворной,
упрямой такой и такой непокорной.
А раз это так, то скажи мне на милость:
неужто ты черной судьбе покорилась?
Неужто во Франкфурте, где-то на Майне,
ты ходишь холопкой и думаешь втайне
о русской гармонии, о белых березах,
о майской прохладе садов приднепровских?
Неужто какой-нибудь фрау дебелой
стираешь белье ты рукой огрубелой
и розовый немец, пивник и обжора,

не сводит с тебя помутневшего взора?
Нет! Верю, как воин, упорно, сурово —
с тобой не могло приключиться такого!
Я помню тебя загорелой, проворной,
упрямой такой и такой непокорной.
Я верю, я верю тебе: непременно
ты в первый же день убежала из плена,
по топким низинам, по дальним полянам
ты поздней порой приползла к партизанам..
...Немало отважных есть женщин на свете...
Читал я недавно в районной газете,
что в наших местах, у деревни Купавы,
убит был начальник немецкой управы.
В газете писалось: «Удар был коротким,
он был нанесен молодой патриоткой,
гранаты как раз в лимузин угодили».
Любовь моя! Счастье! Уж это не ты ли?
Еще я слышал: у днепровского плеса
какая-то девушка вышла из леса
в то самое время, когда по дороге
предателя-старосты топали ноги.
— Почтенье начальству! — сказала девчина.—
Начнем-ка сегодня с тебя для почина!
В упор застрелила и скрылася быстро.
Любовь моя! Счастье! Не твой ли то выстрел?

.. Далёко-далёко от отчего края
проходит дорога моя фронтовая.
Не знаю, какой ты крадешься тропюю,
но сердце мое — неразлучно с тобою.
Пусть будет с тобою уступчивей стужа,
пусть ветер с тобой по-военному дружит,
пусть каждый продрогший пригорок и кустик
тебя загородит, укроет, пропустит.
Пусть ветка-колючка тебя не заденет,
пусть зоркость, пусть смелость тебе не изменит.
Пусть резвая белка под старой сосною
следы поутру заметет за тобою.
Пусть, скрытая тьмою, окутана дымкой,
ты будешь в родимом краю невидимкой,
и мщенье твое на дороге прибрежной
пусть будет для немцев бедой неизбежной.
Любовь моя! Счастье! Подружка родная!
Мы встретимся снова. Я верю, я знаю,
я верю, я знаю — мы встретимся снова
и снова друг друга пойдем с полуслова.

Москва, 1942

ФАШИСТ

Он стоит передо мною,
как обиженный святой,
держит руки за спиною,
почерневший и худой.

Дескать, вы меня не троньте,
уверяю, дескать, вас:
очутился я на фронте
против воли в этот раз.

Языком он вертит туго,
не видать на нем лица:
словно вылинял с испуга —
не гиэна, а овца.

Только я ему не верю
ни минуто ни одну!

Разве можно верить зверю,
если даже зверь в плену?

Сбитый с неба под Москвою,
растерявший весь свой пыл,
через двадцать дней с лихвою
он у фронта пойман был.

Он себя измаял влѣжку,
весь оброс и похудел,
он сырую жрал картошку,
но сдаваться не хотел.

Рылся с жадностью в навозе,
синих жаб ловил в траве,
чтобы вновь на бомбовозе
ночью вылететь к Москве.

Ясно! Негде ставить пробы —
гад, законченный вполне.
И глухое чувство злобы
подымается во мне.

Я гляжу на эту морду,
долго, пристально гляжу

и решительно и твердо
про себя произношу:

— Из хозяйских рук поганых
получил ты не с проста
два железных, филигранных,
окантованных креста.

Ты за третьим, черный ворон,
к нам летел из дальних мест...
Ты его получишь скоро,
этот самый третий крест!

Западный фронт
Сентябрь, 1942

МОСКВА ЗА НАМИ

Поэма

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородинна!

М. Лермонтов.

Артиллерия — бог войны.

И. Сталин

1

Дорога здесь на запад пролегла.
Сверни с нее — и вот он, вот он близко —
граненый, строгий камень обелиска
с орлом, простершим два своих крыла.
Суровая священная верста!
Горит закат. Безмолвствует природа.
Привет вам, знаменитые места —
любовь и гордость русского народа!

Здесь вновь кипели жаркие бои,
здесь вновь летели ядра в изобилии,
здесь вновь пошли сородичи мои
противу иноземного насилья.
Отпела вьюга, опалил мороз
немецкие расколотые танки.
Валяются их грузные останки
в ногах у русских тоненьких берез.
Застывшие в смятении и страхе,
торчат из снега мерзлые тела.
В смирительные белые рубахи
судьба их напоследок облекла.
Их ветер освистал. Шальную их мечту
унес буран на сторону степную.
Их даже птицы вольные минуют,
с презреньем огибая на лету.
О, если б предки увидеть могли
сквозь вечные могильные потемки,
как ревностно их честь оберегли
достойные бессмертия потомки!
Привет вам, талые апрельские снега!
Вы влагой напоили нашу землю.
Я вас как дивный вешний дар приемлю
и с новой силою готов разить врага.

Стоял октябрь. Весь в отблесках луны,
расшитый легкою багряною листвою.

Но горестный, тлетворный дух войны
вита́л над омраченною землею.

Нет, не забыть нам этих горьких дней!

Печаль и мрак нависли над странюю.

Враг рвался на Москву, решив пробиться к ней
любими средствами, любой ценою.

Теснимы алчностью коричневой юрды,
залившей мир страданием и кровью.

мы в этот месяц золотой страды
с боями отходили к Подмосковью.

Противник густо лез. Темным-темно.

Грозя бедой, ползли его машины,
стремясь прорваться сквозь Бородино
на гладкие можайские равнины.

И что таить — силен был наглый вор,
привыкший грабить подло и жестоко.

Тогда-то и пришла и приняла в упор
удар врага дивизия с востока.

Привел ее бывалый командир,
овеянный хасанскими ветрами,
высокий ростом, он смотрел на мир

спокойными, чуть грустными глазами.
Его взрастила вольная Сибирь,
он воинство постиг еще ребенком,
могучий, статный русский богатырь,
с улыбкой доброй, с голосом негромким.

III

Дозоры наши утром донесли,
что на рассвете, снявшись со стоянки,
вдоль насыпи сторожким ходом шли
громоздкие лоснящиеся танки.
Держась гуськом, минуя частый лес,
навстречу ветру и навстречу буре,
шли три полка: «Одиннадцать-СС»,
полк «Дейчлянд», полк «Великий фюрер»
С отборною фашистской немчурой,
гонимой жаждой крови и разрухи,
и повстречался гордый наш герой —
прославленный полковник Полосухин.
Он смерть и гром послал навстречу им,
прорвавшимся на русские просторы,
он сталью рвал глухие их моторы,
он обвернул их в зарево и дым.
Их гнула смерть у каждого куста,

увечил вихрь у насыпи на склоне.
Тогда они укрылись в затоне,
решив нащупать «слабые места»
в суровой бородинской обороне.
Не выдали противнику «ключи»
ни Рогачево, ни деревня Колочь.
Прямым броском ни утром, ни в ночи
не прорвалась коричневая сволочь.
Пройдут года, но песня сохранит
тот грозный день. И мы припомним снова,
как разогнулась прусская подкова,
ударившись с размаха о гранит
бесстрашья капитана Щербакова.

IV

Пробившийся на Минское шоссе,
противник устремился к цели сбоку,
чтобы по торной узкой полосе
к Бородину продвинуться с востока.
Колонной в сорок танков он идет,
деревню Утицы захватывая с ходу.
Колонну в сорок танков он ведет,
но половину наш огонь кладет —
как будто и не хаживали сроду.

Здесь немцы дикую затеяли пальбу,
ракетами страшая нас вначале,
потом в какую-то скрипучую трубу
«Сдавайся, рус!» — в истерике кричали.
Но кто б из русских к ним пошел в полон
менять свободу на позор застенка!
Здесь смертью храбрых гибнет батальон
стремительного капитана Зленко.
— Вперед! — кричит он. — Не сдадим Москву!
И сам бежит по выжженному скату
и падает на черную траву,
успев швырнуть последнюю гранату.
Трещат у наглых немцев черепа,
крушит их наше мужество и сила.
Напрасно их нелепая труба
в истерике о плене голосила.
Прямую обвинительную речь
читают немчуре артиллеристы —
с губительным, неукротимым свистом
кромсает немцев русская картечь.
Карает немцев грозная страна.
Гремучая, отвесная, сплошная,
встает пред ними смертная стена,
на шаг к Бородину не подпуская.

Бородино. Стоят враги в смятеньи.
Гадают немцы: может, обогнуть?
Оно стоит, как страшное виденье,—
нельзя развить успеха наступленья,
не взяв его и не расчистив путь.
Тогда какой-то прусский грамотей
решил прибегнуть к замкнутости круга:
не то по наглости, не то с испуга
полезли немцы с севера и с юга,
с восточных троп и западных путей.
Российскую невежливость кляня,
эсэсовцы пошли на приступ снова.

На этот раз всю тяжесть их огня
взяла на плечи прочная броня
орудий капитана Зеленова.
Не в силах взять Бородино в упор,
оглохнувший от пушечного рева,
противник, как заправский вор,
решает сбить с литых ворот запор,
войдя в Татариново и Псареву.
Темно в глазах, когда подбитый зверь
бросается на раненые плечи.

Но, несмотря на горечь от потерь,
об отступлении не было и речи.
Остервенев, уже в четвертый раз
идут на нас взбешенные бандиты,
скрипя зубами, атакуют нас,
но вновь и вновь атаки их отбиты.
Под гром своих и вражеских мортир,
под клекот мин, под частый треск шрапнели
на синей эмке в каске и в шинели
приехал сам хозяин-командир.
— Ребята! Полосухин вместе с нами! —
веселый возглас из леса летит.
— Да где он? Где он?
— Вот он, за кустами,
у крайнего орудия стоит!
С бойцами рядом он привык сражаться.
Спокойный голос весел и упрям:
— Ну что ж, товарищи, давайте уж держаться
как подобает русским пушкарям!

VI

Подтягивая на горбатых танках
нетрезвых автоматчиков своих,
противник по команде спозаранку
замкнулся, ступшевался и затих.

Затянутый предутренним туманом,
он делал вид, что кончилась гроза,
надеясь незатейливым обманом
ослабить наши уши и глаза.
Но изучали мы ее недаром,
коварную немецкую лису.
Встает восход, и зверь взметнулся яро,
сосредоточив главные удары
на нашей артиллерии в лесу.
Но в тесноте березовых стволов
упрямо бьются доблестные люди.
Прямые жерла громовых орудий
наводит неумный Зеленов.
Устали немцы с пушками возиться —
несутся к лесу десять танков в ряд.
Но Зеленов с открытых бьет позиций,
и десять танков нехотя горят.
С далекого распутия окружного
доносит ветер шелест мокрых шин.
Везут пехоту. По команде снова
гремят в лесу орудья Зеленова —
и нету сразу десяти машин!
Чем распахнуть смертельную завесу?
С каких высот вогнать железный клин?
Противник начинает бить по лесу

тупым огнем своих бризантных мин.
Когда б не смерть,— дивиться бы: красиво!
Искусно, по-цыгански завиты,
повисли облака разрывов
почти необъяснимой черноты.
За лесом начинается, в лесу ли
снарядов задыхающийся вой?
Уж лес не лес, а злой гигантский улей,
очерченный трассирующей пулей,
осыпанный осколочной пургой.
Всё потонуло в грохоте и стоне.
Горят стога. Пылают трактора.
Постромки рвут испуганные кони.
Быть может, отступить уже пора?
Насели бронированные банды.
Порвали связь. Крепи ее, крепи!
И Зеленов дает уже команду
На ухо ближнему, по кругу, по цепи.
Не так ли, слыша посвист ядер резкий,
смирив норы вражеских атак,
за землю русскую стоял Раевский?
Наверно, так. Да, да, конечно, так!
Нет, как бы ни был поздний час опасен,
трепещет смерть, когда бушует жизнь.
Не кончились еще боеприпасы.

Держись, друзья-товарищи! Держись!
За древнею кремлевскою стеною
вас слышит Сталин. Ваш родной отец.
Он чувствует отеческой душою
сыннее биение сердец.
Он знает всё. Он не смыкает вежды.
Он вместе, вместе с вами, впереди.
Высокий пламень воинской надежды
пылает в чуткой сталинской груди.

VII

Неужто немец наши души вытряс?
Зачем молчим? Где главный наш расчет?
Понятно! Зеленов пошел на хитрость!
Охотник, он снаряды бережет.
Молчанье наше — для врага приманка.
В притихший лес, в туман березняка,
врывается восьмерка шальных танков,
чтоб затоптать, сломить наверняка.
Не надо даже трогать панораму,
она здесь совершенно не нужна.
Враги вблизи, работать надо прямо.
В прицельной трубке их судьба видна.
Лови их в паутину перекрестья,

не бойся их, трусливых и шальных,
лупи их так, чтоб после вспомнить с честью,
чтоб каждый выстрел пробом был для них.
— Огонь! Огонь! — Пылает первый с борта.
Багровой опоясанный тесьмой,
дымит второй. И третий. И четвертый.
— Огонь! Огонь! — И набок лег восьмой.
Земля под ним размолота и взрыта.
Завоеет нынче «Дейчлянд» от пропаж.
Не выйдет из разбитого корыта
завешанный крестами экипаж.
Идет девятый. Медленный. Тяжелый.
Костями своих собратьев окружен,
ободраный, рыгающий, комолый,
он лезет к батарее на рожон.
У нашего наводчика Отрады
уносит руку дикий вихрь снаряда.
Но он стоит, весь кровью залитой,—
стоит безрукий, с помутневшим взглядом
и левой дергает упавший шнур витой.
Прочищен ствол, не сдаст тугой замок.
Наводка безупречная, прямая.
Еще раз к небу круглый гром взлетает,
и — кончено. Девятый танк замолк.
Обняв Отраду крепкою рукою,

сквозь гром и дым и частый дождь свинца
сам Полосухин ближнею тропею
ведет в укрытье юного бойца.
Ни крика, ни слезы, ни стопа
не проронил на поле брани он.
Как пламенный защитник бастиона,
невидимой рукой Багратиона
сибирский парень был благословлен.
Бородино стояло гордо, строго.
Враг в бешенстве топтался у порога.
Бородино стояло на крови.
Кипеньем гнева и огнем любви
была к нему отрезана дорога.

VIII

Бородино! Тверда земля твоя.
Одно твое торжественное имя
выводит павших из небытия
и чудодейно властвует живыми.
Бородино! Вся удаля молодая,
вся гордость русская в тебе живет,
вся родина — от Крыма до Алтая,
от знойных круч до северных широт.
Весь день с рассвета шел неравный бой,

великого достоин удивленья.

Туман опять спускался над землей.

Фашисты подвозили подкрепленья.

Пусть будет так. Пусть в мире нет чудес,

немыслимое в этот раз сбылось —

казался немцам скромный русский лес
грознее неприступного утеса.

Пускай германец злобен и неистов,

но стерегли земли родимой твердь

сто пятьдесят лихих артиллеристов,

готовых к смерти и презревших смерть.

Зажатые в дымящемся кругу,

натруженные, в огненной полуде,

в лесу из тридцати шести орудий

стреляли только девять по врагу.

Видать врага, как птицу по полету,

когда ее удар не миновал.

Враг наскоро высаживал пехоту,

он танками теперь не рисковал.

Темнело. В поздний час заката

бойцы встречали вражий натиск вновь.

— Проверь винтовки! Приготовь гранаты! —

командовал чуть слышно Зеленев.

— Скорей, — шептал он, — веселей, ребятки! —

и припадал за влажный горб гряды.

Уже стояли в боевом порядке
немецких автоматчиков ряды.
Сквозь тонких веток легкую сетчатку
артиллеристы видели вдали:
вот встали немцы. Вот они пошли.
В блестящих белых лайковых перчатках
их офицеры на убой вели.
Опять далеким выстрелам вдогонку
метнулись мины, с всем рушась вниз.
И вдруг замолкло всё. Донельзя тонкий,
противный голос в воздухе повис:
— Эй, русские! Зашьем ви помьбираем?
Есть плен? Нихт гут вам помьбровать!
— Сейчас мы вам перчатки замараем, —
неслось из леса, — век не отстирать!

IX

И грянул залп. Сначала без опаски
рванулись автоматчики с бугра,
бегом, бегом, пригнув стальные каски,
стреляя не по-нашему — с бедра.
Сопя и обливаясь потом,
эсэсовцы падали невпопад.
А наши люди били, как по нотам, —

свалился сразу весь передний ряд.
Расстроились, рассыпались вояки
и вдруг легли у наших на глазах.
Поборники «психической атаки»,
онй, как зайцы, прятались в кустах.
Где ж ваша резвость, струсившие черти?
Где ваша стать, коричневая рать?
Вас даже офицер под страхом смерти
от целины не может отодрать!
Он по-гадючьи вьется у куста.
Он в ярости. Он стал от злости белым,
отчаявшийся, с пеною у рта,
блестя резьбой железного креста,
он тычет в небо новый парабеллум.
Брось, офицер, ты кажешься смешным!
Вставать твоим мерзавцам неохота.
Они же слышат, как строчит по ним
упрямая советская пехота.
Она еще недавно, как могла,
лупила по эсэсовцам из пушки.
Теперь она в окопы залегла,
винтовки трехлинейные взяла
и ловит вас, как коршунов, на мушки.
Вот и убит ваш офицер. Теперь
берет вас без задержки в шоры

уже другой, в мундир одетый зверь, —
у этого короче разговоры.

Прямой, поджарый, он похож на рысь,
он бьет в затылок трех лежащих с края.

И вот вы подчинились. Поднялись.

И вновь два дружных залпа раздались,
и повалилась партия вторая.

Не может быть, никак не может быть,
чтоб храбрецы шутов не одолели!

Добить хвастливых врагов, добить,
пока они прорваться не сумели!

Бегут проклятые, бегут вперед.

Спешит, спешит коричневая рота.

Но тут их с фланга взяли в оборот
два станковых советских пулемета.

И надо было только посмотреть,
как мокрых их, забрызганных росой,

валила наземь праведная смерть
своею беспощадною косою.

С кем вы связались, бешеные псы!

С народом Невского, с кутузовскою славой!

Погромщики, насильники, трусы,

да мы вас вырвем с корнем! Обезглавим!

Совсем стемнело. В голубую высь,

как хищные, хвостатые кометы,
с кошачьим шипом нанскось взвились
сигнальные немецкие ракеты.
Отбой сыграли немцы. До утра
они решили больше не храбриться.
Пора, товарищи, теперь уже пора
сниматься с уготованных позиций.
Укрыты раненые. Свиты провода.
Винтовочки повешены за плечи.
Разобраны на конях повода —
до отдыха буланым недалече.
Лафеты улеглись на передки.
Притихшею полуночной порою
по глуби рва, как по руслу реки,
на север двинулись усталые герои.
Уходят пушки, но они грозят!
Уходят люди, — чтобы возвратиться.
И горе вам, вильгельмы, гансы, фрицы,
когда они воротятся назад!
Горит в ночи распахнутое знамя.
Блестят огни пятиконечных звезд.
Упала тьма. Развеялся и замер
последний звук, последний стук колес.
И только темный свежий отпечаток
остался на песчанике во рву.

Так кончилась одна из жарких схваток
за нашу честь, за волю, за Москву.

Закончена еще одна страница.

Написана еще одна строка
великой книги битвы за столицу.

Мы отошли, чтоб с новых огневых позиций
промить и обескровливать врага.

Мы отошли. Но помни нас, страна, —
мы здесь стояли за тебя стеною.

Враги продвинулись. Но стороною,
как черти ладана, боясь Бородина.

Х

Дорога здесь на запад пролегла.

Сверни с нее — и вот он, вот он, близко —
граненый, строгий камень обелиска
с орлом, простершим два своих крыла.

Суровая священная верста.

Легендами овееянное поле.

Привет вам, знаменитые места,
недавно побывавшие в неволе!

Здесь с нам любо. Каждой тропки пядь.

Холмы и кручи не окинуть взором.

Коварный враг здесь лютовал опять,

Чтоб броситься в великом страхе вспять,
снедаемый досадой и позором.

Мы гоним, гоним хищную орду.

От этих мест бои уже далеко.

Враг в злобе огрызается жестоко,
но смерть его у мира на виду.

За горький дым поруганного дома,
за скорбь, за боль, за слезы матерей
враг не уйдет от мести и от грома
победоносных русских батарей.

На запад смотрят русские штыки.

Смелей, смелей! — подсказывает сердце.

Вперед, орлы — донцы, кубанцы, терцы!

Вперед, волжане и сибиряки!

Запомни, враг, презреньем заклеимен:
не покоришь нас, волей непреклонных,
не сломишь нас, с рожденья осененных
величьем гордых ленинских знамен!

Западный фронт

Апрель, 1942

ДЕЛО БЫЛО НА РАССВЕТЕ В НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВНЕ А.

С улюлюканьем и свистом,
с пьяным гиканьем

с утра

головная часть фашистов
заняла деревню А.

Оголенные вояки

ворвались спяна в село.

Рыщут вдоль села, собаки,
морды набок повело.

Ворвались!

Но что такое?

Так и носятся бегом,
не найдут никак покоя,
озираются кругом.

— Не война, а наказание! —
говорят вояки вслух. —

Как бы группа партизанья
нам не выпустила дух...

Рыщут вдоль села, потея,
от угла и до угла.
Вдруг «богатая идея»
гадам в голову пришла.
Населенье с удивленьем
прочитало на столбах
«боевое объявление»
на различных языках:
«Призываем всех военных,
кто теперь в тылу у нас,
без задержки, откровенно
к нам явиться сей же час.
Выходите дружно, вместе
из домов и из лесов
и сдавайтесь нам по чести
до двенадцати часов.
Место явки — у села.

СРОК

ДО ПЯТОГО ЧИСЛА.

«Кто не выйдет на призывье,
тот потерпит наказание».
Не призыв, а благодать.
Сели гады, стали ждать.
Утро ждут и вечер ждут —
партизаны не идут.

Написали немцы снова:
„СРОК
ДАЕТСЯ ДО ВОСЬМОГО“.

Снова гады в страхе ждут, —
партизаны не идут.

Не раздеты, не умыты,
озираясь день за днем,
пишут в ужасе бандиты:

„ДО ТРИНАДЦАТОГО ЖДЕМ!“

Дескать, милость нашу знайте,
будет задан вам урок.
Как хотите поступайте.

Это —

„САМЫЙ КРАЙНИЙ СРОК!“

Тут и вышла благодать!
Через пустошь, через гать
на рассвете,

утром рано,

налетели партизаны.

Так вцепили немцам с тыла,
так вошли в деревню А.,
что у гадов кровь застыла
и оттаять не смогла!

КОГДА ГРЕМЯТ СОВЕТСКИЕ ОРУДИЯ...

Когда гремят советские орудья,
когда огонь встает сплошной стеной,
я чувствую всем разумом, всей грудью
весь пнез, всю мощь моей земли родной.

Неистовствует воздуха громада,
распарываясь, рушась и звеня,
как будто началась не канонада,
а поединок ветра и огня.

Трепещет лес от грохота и свиста,
взрывают небо прозные басы.
Работают бойцы-артиллеристы
размеренно и четко, как часы.

Я славлю мужество! Я славлю твердость!
Я славлю наших русских матерей,

родивших и взрастивших нашу гордость —
бесстрашных сыновей-богатырей!

Над нами ночь зажгла свои созвездья,
редеют черные фашистские ряды.

Их гнет к земле, их косит смерч возмездья —
страна свинца, металла и руды.

Западный фронт

1941

ГВАРДЕЕЦ ФЕДОР РОЯНОВ

Смелчаки, они такие все:
скажет слово и молчит, краснея.
Как раскрыть его во всей его красе,
как оказать о нем правдивей и яснее?
Рост гвардейца. Ясный, добрый взгляд.
Просто улыбается и шутит.
Про таких обычно говорят:
«Он воды напрасно не замутит».
А ему-то и пришлось как раз
 замутить водицу вражьей кровью.

Возле Западной Двины, в верховья,
 пусть начнется про него рассказ.
Голос ветра, вольный шум стремнин
 пусть помогут мне сказать о нем вернее.
Было дело! Восемь сотен мин
 немец выпустил по батарее.

Враг решил: «Теперь пора идти,
больше подготавливать не надо».

Но неодолимая преграда
поднялась у немцев на пути.
Всё вокруг оглохло и ослепло...
Это, землю русскую храня,
из золы,

из небыли,

из пепла

встала ярость нашего огня.

Это был Роянов. В полный рост
он поднялся, статный и могучий,
будто росчерк молнии над тучей,
сказочно величествен и прост.

Он отлично понял по стрельбе:
немцы ломятся, идут колонной.

— Трубка пять! — кричит он сам себе.

И трепещет воздух потрясенный.

Немцы падают; но выбитых опять
заменяют новые оравы.

А Роянов снова: — Трубка пять! —
и крушит картечь налево и направо.

Ой, хватили немцы через край,
напоролась наглая пехота —
сотни три без малого, считай,

захлеснула смертная икота.
Глянул Федор в маленький прицел,
озорно присвистнул, отряхнулся,
оглядел себя, ощупал: цел!
И почти по-детски улыбнулся.
Обошлась прибрежная трава
дорого на этот раз фашистам!

С той поры пошла гулять молва
о бедовом воине плечистом.
Я не знаю, где теперь стоят,
на каком пригорке у опушки,
на каком участке говорят
грозные рояновские пушки.
Может статься,— у Днестра-реки,
может,— в перелеске возле Гжатска.
Только знаю: не пройдут враги
там, где будут храбрые сражаться!

Западный фронт
1942



ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ ВО ЗДРАВЬЕ АННЫ ДЕНИСОВНЫ

I

Сядь, Денисовна, посиди со мной,
Сердцем песню уважь мою.
Посиди со мной, Анна Денисовна,
Слушай, что я тебе спою.
Может, капля того мне ведома,
как пошла о тебе молва,
под какими такими бедами
поседела твоя голова.

Но и в капле — для песни козыри,
если песенник к ним готов.
Я, как в самом глубоком озере,

Вижу тени твоих годов.

Если взять эти самые годы,
год за годом поставить в ряд,
то при шуме любой погоды
эти годы заговорят!

Если взять твою жизнь с порога
до последних ее следов,
то по горьким, как дым, дорогам
встанут восемьдесят годов.

Сколько тяжких снопов повязано,
сколько скошено трав-отав,
сколько стерплено, да не сказано,
сколько сказано, да не так.

Сколько в молодости загублено,
сколько высыпано на дно,
сколько люблено — не долюблено,
сколько вымолвить не дано.

Если слить воедино слезы,
что тебе довелось пролить,
то ни вьюгам и ни морозам
слез горячих не остудить!

Ты строишь. На морщины-полосы
густо падает седина.

Но не только про белые волосы

эта песня заведена.

Это только причина — волосы,
песня падает с высоты,
потому что в ней просят голоса
сотни тысяч таких, как ты!

Те, что были нуждой терзаемы,
подъяремными век прошли,
люди — пленники помыкаемой,
вечно страждущей земли.

Люди, согнутые урядником,
люди, битые батогом,
утиравшиеся по праздникам
замусоленным рушником.

...За оградой погода — непогодь,
как волчица зовёт волчат...

Я бы смолк, коли так, но мне, поди,
даже смолкнув, не умолчать!

Сядь, Денисовна, посиди со мной,
сердцем песню уважь мою,
посиди со мной, Анна Денисовна,
слушай, что я тебе спую.

Я не стану тебе описывать
молодые твои года.

Пусть из песни, Анна Денисовна,
их уносит быстро вода.

Песням нету закона-времени,
чтобы всё до краев дано...

Помнишь ты, напослед беременна,
шла по вечеру на гумно?

Шла и слышала, как немилостно
маята в поясу взяла.

Шла и ахнула. И опустилася
на солому — и родила.

Рдели звезды. Шумела жимолость.

И не слышали тополя,
как твоими слезами вымылась
истомившаяся земля.

И не ведала ты, Денисовна,
что на самом краю села
в тот же день у попа Анисима,
в тот же час, попадья родила,
что сказала ей бабка-знахарка:
«Любо, первенец не орал...

Будет он не большой, не махонький —
обязательно генерал!»

Рдели звезды. Шумела жимолость.

Теплый ветер качал бадью.

И святою водою вымыли
онемелую попадью.

И лежала она и лопала
клюкву с медом четыре дня,
и людей, проходивших около,
гнала, шикала от плетня.

Ты же баба была проворная:
не оправя еще стопы,
в тот же вечер руками черными
домолачивала снопы.

Так вошли не одной походкой
в мир, раскрытый до самых звезд,
два ровесника, одногодка,
два питомца из разных гнезд.

...Где бы ни был ты:

в хате, в доме ли —

детство ходит тропой одной.

Одногодки перезнакомились

и друг другу — как брат родной,

Но как только забавы кончились,

слова лишнего не говоря,
Сашку отдали в коногонщики,
Иннокентия — в писаря.
И не стал Иннокентий кланяться
и добром поминать не стал,
и не в среду, и не в пятницу
руку Сашке не подавал.
И когда наконец догнал-таки
их солдатчины солон вал,
Пашку взяли, угнали в Балтику,
Иннокентий же откуп дал.

...Сколько сказано — не досказано,
сколько сгублено за пятак,
сколько стерплено, да не сказано,
сколько сказано, да не так.

III

Нету сына. Томит бессонница.
Горько плачет о сыне мать.
То ли за морем он хоронится,
то ли брошен в острог опять?
Может, многое он не выковал...
Только вышло, как захотел —
до родимого Новозыбкова

грохот дел его долетел!
Через дебри постов и праздников,
через омуты всех тягот,
через головы всех урядников
долетел знаменитый год.
Зори дрогнули у околицы —
и без меры и без числа
быль-река, завиваясь кольцами,
вести буйные понесла.
Плыли трупы, да чайки плакали,
да туманы шли от низин...

...Как-то осенью с гайдамаками
воротился поповский сын.
Воротился — к тебе пожаловал,
только в горницу не вошел.
Встал у тына, локтем прижал его
и такой разговор повел:
«Время терпит. Небось не ночь еще...
Так что, бабка, ты не юли:
кто от красных стоял в урочище
и куда и зачем ушли?
Всё о сыне печешься, старая.
Хоть и друг он мне в детстве был,

я бы Сашку твою чубарого
на капусту бы порубил.
Что ж молчишь? Аль отпета заживо?
Видишь: гости не при тепле.
Надо потчевать да ухаживать,
а не быть, как сова в дупле!..»
«Что ж,— сказала ты,— коль задунуло,
просим гостя под образа...» —
И ты гордому гостю.. плюнула
в голубые его глаза.
«Нет, ублюдок, я знала смолоду,
бог о стати твоей наврал:
и не ты, а мой Сашка-золото
красный в Питере генерал!..»
И ударили чем-то в голову.
И закутало в тишину.
Через двор, через лужи, волоком
притащили тебя к гумну.
И, зеленую от удушья,
на току, между двух колов,
повалили тебя и обрушили
сорок воющих шомполов.

...Рдели звезды. Шумела жимолость,
и не видели тополя,

как обильною кровью вымылась
истомившаяся земля.

IV

Если взять боевые годы,
год за годом поставить в ряд,
то при шуме любой погоды
эти годы заговорят.
Как поверить тому, Денисовна,
что и гром позади, и дым?
Как поверить тому, Денисовна,
что мы вместе с тобой сидим?
Что по свежему Новозыбкову
песни ходят, как корабли,
и над хатою, как над зыбкою,
тополь листьями шевелит?
И колхоз твой в округе славится
вешней силою зеленой,
и расти ему,
и цвести ему,
как черемухе по весне!
Как поверить тому, что в горнице,
освещенной косым огнем,
стол стоит и, как злая конница,

пять граненых стоят на нем?
Что ж, подыдем! (С широкой скатерти
подымаю стакан вина.)

И за полное счастье матери
вышиваю его до дна!

Я хмелею за здоровье сына,
что прошел сквозь жару и лед
от Кронштадта до Украинны,
от Днепра до восточных вод!

За горячие переправы
не воспетых еще боев,
за не гаснущие от славы
пять сверкающих орденов!

За приплоды садов заречных,
за глубокий запах борозд,
за сиянье пятиконечных,
неусыпных и мудрых звезд.

Новозыбков—Москва
1935

ГОЛУБЬ МОЕГО ДЕТСТВА

Прямо с лету, прямо с ходу,
поражая опереньем,
словно вестник от восхода,
он летит в стихотворенье.
Он такой, что не обидит,
он такой, что видит место —
он находит для насеста
самый лучший мой эпитет.
И ворчит, и колобродит,
и хвостом широким водит,
и сверкает до озноба
всеми радугами зоба.
Мне бы надо затвориться,
не пускать балунью-птицу.
Но я так скажу: ни разу
птицам не было отказу!
С милым гостем по соседству
любо сердцу и перу!..

Встань, далекий образ детства
на немыслимом ветру.
...Было за полдень. В ограду
на саврасом жеребце
въехал всадник с мутным взглядом
на обзетренном лице.
Всадник спешился. Оставил
у поленницы коня
и усталый шаг направил
сразу прямо на меня.
И, оправя лопотину¹,
он такую начал речь:
— Понимаешь, парень, в спину
угодила мне картечь.
Понимаешь... мне того...
плоховато малость.
Понимаешь... жить всего
ерунду осталось.
Воевал я не за этим.

И он спину обнажил,
и я в ужасе заметил
кровяные клочья жил.

¹ Л о п о т и н а — по-сибирски верхняя одежда.

Я от страху — в палисадник.
Пал в крыжовник и реву...
Только вижу: бледный всадник
опустился на траву.
Только вижу, как баранья
шапка валится на чуб,
только слышу, как страданья
улетают тихо с губ.
Мне, конечно, стало горько,
стало муторно до слез.
Я к нему из-за пригорка,
побеждая страх, пополз.
— Понимаю,— говорю,—
понимаю дюже...
Может, спину,— говорю,—
затянуть потуже?
Понимаю,— говорю,—
но куда ж деваться?
(Говорю, а сам горю,
не могу сдержаться.)
Теребя траву руками,
всадник веки затворил
и, тяжелую, как камень,
чуя смерть, заговорил:

— Ты челдон, и я челдон,
оба мы челдоны...

Положи свою ладонь
на мои ладони.

Слышишь, сполохи гудут
по всему заречью —
беяки по нашим бьют
рассыпной картечью.

На семнадцать верст окрест
белые в селеньях,
так что, кроме этих мест,
нашим нет спасенья.

Я, родной мой, прискакал
на заимку эту,
чтобы красный дать сигнал,
если белых нету.

Мы бы стали по врагу
бить из-за прикрытья...

Понимаешь, не могу
дальше говорить я...

Было душно. К придорожью
медом веяло с гречих.

Всадник вздрогнул страшной дрожью,
отвернулся — и затих.

Я, конечно, понял сразу
то, что он не досказал.
Я, конечно, без наказа
понял, что он наказал.
Я, конечно, понял сразу —
надо выбросить сигнал.
Я — к избе. Комод у входа.
Я беру в расход комод.
В верхнем ящике комода
ходит ветер круглый год.
В среднем ящике комода —
канитель такого рода,
что сам чорт не разберет!
В нижнем? Очень интересно:
в нижнем, в ворохе тряпья,
теткин шелковый воскресный
полушалок вижу я.
Полушалка мне не жалко —
я его напоздам.
Мне не жалко полушалка..
На чердак бегу. А там
со своей подругой вместе,
боевой и злой на вид,
на березовом насесте
голубь мраморный сидит.

— Что ж, — кричу, — послужим, дядя!
Повоюем на лету!
И, багровый шелк приладя
к голубиному хвосту,
я свищу: «Вали на волю!»
И пошел винтить трубач
по воздушному по полю
сумасшедшим летом, вскачь!
То петлями, то кругами,
то в разлете холостом.
И багровый шелк, как пламя,
за его густым хвостом.
То на выпад, то на спинку,
то как ястреб от ворон...

Вихрем прибыл на заимку
партизанский эскадрон.

Солнце падало. Смеркалось.
Скрылись белые за мыс.
Восемь раз разбить пытались,—
восемь раз стекали вниз.
Над заимкой тучи плыли.
У заката на виду
люди всадника зарыли

под калиною в саду.
И поставили подсолнух
у него над головой,
и не дрогнул тот подсолнух
и стоял, как часовой.
А когда дневное лихо
заступили тьма и тишь,
эскадрон ушел по тихой
дальним бродом за Иртыш.
И не мог я наглядеться
на подсолнух ввечеру.
О, далекий образ детства,
белый голубь на ветру!

Москва, 1935

СОДЕРЖАНИЕ

Поле русской славы	3
Его имя	6
Наш Ленинград	8
Землякам-сибирякам	10
Русская мать	12
Связист	16
1 января 1942 года	18
Ответ врагу	19
Мы встретимся снова	21
Фашист	25
Москва за нами	28
Дело было на рассвете в небольшой деревне А.	48
Когда гремят советские орудья...	51
Гвардеец Федор Рожнов	53
Застольная песня во здравие Анны Дени- совны	56
Голубь моего детства	66